

ВИКТОР
ПРОНИН
ДУРНЫЕ
ПРИМЕТЫ



ЛУЧШИЕ РОМАНЫ
ОТ СОЗДАТЕЛЯ
«ВОРОШИЛОВСКОГО
СТРЕЛКА»



Виктор Пронин
Дурные приметы

«ЭКСМО»

1997

Пронин В. А.

Дурные приметы / В. А. Пронин — «Эксмо», 1997

Как правило, одно преступление тянет за собой другое, более серьезное. В этом убедился неудачливый продавец газет Виталий Евлентьев, волею судьбы ставший умелым киллером. Но убивать – это одно умение, а просчитывать последствия – совсем другое, на которое способен только профи. Заказ Евлентьев выполнил – убил банкира и ушел от его охраны. И вдруг случайно узнал, что сам заказан. Вот теперь и нужно проявить незаурядные способности профи, чтобы остаться в живых.

© Пронин В. А., 1997

© Эксмо, 1997

Содержание

* * *	5
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Виктор Пронин

Дурные приметы

*Нас всех подстерегает случай,
Над нами сумрак неминуемый...*
Александр Блок

* * *

Этот человек ничем не привлекал к себе внимания, ну вот совершенно ничем. Его можно было встретить за день хоть сто раз, и ничто не отложилось бы в вашей памяти. В полном соответствии с нынешними представлениями о моде на ногах у него были тяжелые черные ботинки, не то туристские, не то десантные, причем явно какой-то чрезвычайно дружественной натовской державы. Темные штаны, не брюки, а именно штаны, в меру заношенные, в меру грязные. Плащевая куртка была продуманно неопределенного цвета, в ней можно было успешно скрываться в прибалтийском тумане, среди голых стволов деревьев, в таджикских скалах, в привокзальной, рыночной московской толчее. На голове у него была, естественно, вязаная шапочка с невнятными заграничными буквами над правым ухом.

Такой вот человек сидел на мокрой скамейке, на платформе станции Голицыно. Рядом, на влажном после ночного дождя асфальте, стояла довольно объемистая сумка с двумя ручками. Конечно же, она тоже была темно-серого цвета, конечно же, выглядела замызганной и затертой. Видимо, хозяину немало приходилось таскать ее по дорогам, по автобусным, троллейбусным остановкам, по электричкам и еще черт знает где.

Мятая, небритая физиономия, тусклый взгляд, замедленные, какие-то незаконченные движения... Человек этот если и надеялся на что-то в жизни, то не более чем на стакан водки с холодной сосиской у ближайшего киоска. А лет ему было около тридцати, может быть, тридцать пять, а там кто его знает. Отмыть, накормить, дать выспаться – глядишь, лет на десять и помолодеет.

Погода стояла отвратно-весенняя – низкое небо, холодный сырой ветер. Этот ветер казался клочковатым, то налетал с неожиданной стороны, то внезапно стихал, чтобы через секунду снова наброситься с непонятной озлобленностью. Намерзшие за зиму деревья раскачивались на этом ветру, и даже не гул шел от них, а тяжкий стон, будто и не надеялись они увидеть солнце, дожидаться тепла, вытолкнуть из себя зеленые липкие листочки.

Белое запущенное, в грязных потеках здание вокзала было, видимо, когда-то нарядным и праздничным. Но теперь в нем вообще отпала всякая надобность. Первый этаж заняли всевозможные киоски – холодные, бестолковые и какие-то откровенно бандитские. Налет воровства и опасности исходил от немытых окон, от луж на полу, от нагловатых продавцов, да и от самого товара – поддельная водка с подозрительно низкой ценой, загнившие кошачьи консервы, порнокассеты с сисястыми бабами на коробках, шоколадные яйца с какими-то тварями внутри, призванными соблазнять души юные и неокрепшие.

Второй этаж здания вокзала был вообще заколочен. Судя по внешнему виду, внутри наверняка стояли треснувшие от мороза батареи, протекала крыша, гудели сквозняки сквозь выбитые стекла окон. Сто лет назад мимо проходило два-три поезда в сутки, но вокзал был украшением всей округи, а сейчас, когда электрички с металлическим визгом проносились каждые пять минут, вокзал сделался ненужным.

Часы на здании показывали пять минут десятого. Немного опоздав, подошла электричка из Москвы. С шипением раскрылись двери, и из вагонов на перрон высыпали люди – все муж-

чины неотличимо походили на человека, сидевшего на мокрой скамейке, все женщины вполне соответствовали мужчинам.

Двери захлопнулись, и электричка, набирая скорость, с воем ушла в серую мглу, в сторону Можайска.

Человек на скамейке пошевелился.

Прошло еще пять минут, и из той же влажной мглы медленно и бесшумно выполз состав. Что-то объявил гнусавый диктор. Его голос напоминал чье-то беспорядочное топтание по мятой жести. И хотя ни слова понять было невозможно, на платформе возникло движение, люди стали подтягиваться к дверям вагонов. Поднялся и человек в серой куртке. Он взял свою сумку, поднес ее к задним дверям последнего вагона и поставил на асфальт. Сумка, похоже, была достаточно тяжелой, и держать ее в ожидании, пока откроются двери, ему не хотелось.

– Куда электричка? – спросил парень, забравшийся с путей на платформу, тоже, кстати, в черных ботинках, серой куртке и вязаной шапочке.

– На Москву.

– Скоро пойдет?

– В десять пятнадцать, – человек с сумкой отвечал немногословно, но охотно, его совсем не тяготил разговор, он даже несколько оживился, взглянул парню в лицо.

– Дай закурить, – сказал тот.

– Не курю.

– И не пьешь?

– Пью.

– Сто грамм осилишь?

– Осилю, – какое-то подобие улыбки тронуло лицо человека, чуть раздвинулись губы, потеплели глаза.

– Сейчас зайдем, разберемся, – сказал парень и для верности похлопал себя по нагрудному карману. В нем явственно ощущалось некое вздутие, видимо, там и находилась бутылка.

– Разберемся, – кивнул человек и бросил опасливый взгляд на сумку.

– Чего везешь?

– Да так...

– Торговля?

– Вроде того.

– Кормит? – продолжал допытываться парень, но без большого интереса. Ему, похоже, просто хотелось переброситься хотя бы несколькими словами, перед тем как выпить с незнакомым человеком. – Или слабо?

– Когда как...

– Слышал такую песню... Начало не помню... Пудра, крем, одеколон, три пуховых одеяла, ленинградский патефон... Угадал? – усмехнулся парень, показав железные зубы.

– Почти.

Двери резко раздвинулись в стороны, обнажая проход в тамбур. Напирая и толкаясь, люди рванули в вагоны, хотя знали, что можно бы и не торопиться, что на начальной станции места хватит всем. Но привычно пробуждалась в каждом боязнь оказаться обманутым, обмисленным, обойденным.

– Сюда, – парень суматошно затащил человека с сумкой в первое же купе. Причем сам поставил сумку у прохода так, чтобы никто больше не смог сесть рядом. Радостно-суетливыми движениями он достал из кармана водку, вынул стаканчик, складывающийся из нескольких пластмассовых колец, из другого кармана – завернутый в целлофановый пакетик соленый огурец.

– Хозяйственный ты мужик, – озадаченно проговорил человек.

– Тебя как звать-то?

– Виталий.

– А меня Вася. Значит, так... Сначала ты, а я потом... – Вася налил полный стакан водки, протянул Виталию. – Давай... А то сейчас сквозь кольца просочится... Давай.

Виталий взял стаканчик, прикинул емкость – в нем было не менее ста пятидесяти граммов. Доза приличная, учитывая, что день только начинался.

– Ну, ладно, – вздохнул обреченно. – Раз уж так вышло... Придется выпить.

– Почему придется?! – возмутился Вася. – Ты с радостью выпей, с радостью! Чтоб дух перехватило от восторга! Чтоб слезы из глаз! Чтоб вагон вздрогнул от зависти! – еще не выпив, он уже, кажется, начал пьянеть, счастье предстоящего хмеля уже охватило его.

Виталий выпил, хрустнул огурцом – неплохим оказался огурец, домашней засолки, не отравленный уксусом, солью, дурными специями. Внутри у него запыхало чем-то нестерпимо сладким, жгучим, и все те горести, которые бродили в нем, отравляя сознание, мгновенно сгорели в этом священном огне. В глаза его начала просачиваться жизнь.

– Сколько должен? – спросил он.

– Тю! Дурной! – ответил Вася и опрокинул свой стаканчик. – Следующий раз ты меня угостишь.

– Долго ждать придется.

– А ты не пужай, я тебя тут частенько вижу по утрам... А нет, так и подожду, – ответил Вася весело, ему тоже похорошело. – Не к спеху. Все... Будь здоров!

– Что, уже? Так быстро?

– Малые Вяземы... Моя остановка. Одному хмырю дачу строим. Это... – Парень оглянулся. – Если плохо заплатит, – он еще раз оглянулся, – пустим петуха.

– Это как?

– Сожжем! – свистяще прошептал Вася. – Понял? Дотла! То-то будет весело, то-то хорошо! – В последний момент он успел выскочить в раскрытые двери, уже с перрона махнул рукой.

Виталий выглянул в окно – действительно, это были Малые Вяземы. Большие алюминиевые буквы, укрепленные на трубах, проплыли перед самым его лицом. Он взглянул на часы – девять восемнадцать. Их пьянка продолжалась ровно три минуты.

– Рекорд, – усмехнулся про себя. Передохнув несколько минут и дождавшись, пока в организме стихнет шторм, поднятый хорошей дозой водки, Евлентьев, да, именно такая была у него фамилия, Евлентьев решил, что пора приступить к работе. За это время электричка проскочила Дачное, в окне мелькнуло название следующей станции – Жаворонки. Часы на платформе показывали девять двадцать пять.

Поднявшись со скамейки, Евлентьев запустил руку в сумку и вынул книгу в красочной обложке.

– Уважаемые граждане пассажиры! – громко произнес он, стараясь пересилить грохот несущейся электрички. – Вашему вниманию предлагается потрясающий роман Леонида Словина! Кровавая схватка мафиозных группировок! Главного бандита утопили в говне! Авторитеты расстреляны в ресторане! Милиция, банки, высшая власть в преступной связке! Книга издана в прекрасном твердом переплете, отлично прошита, снабжена суперобложкой! А ее цена... Внимание... – Евлентьев сделал паузу и обвел скучающих пассажиров горящим взглядом, словно собирался сообщить о чем-то грандиозном. – Ее цена, вы не поверите... Мы работаем напрямую, без посредников, поэтому цена чисто символическая! Пятнадцать тысяч рублей. Не жалеете этих денег! Сходить в туалет на Белорусском вокзале стоит пять тысяч рублей...

– Три тысячи, – поправил его мужичок, неотрывно глядя в окно.

– Три тысячи – это, папаша, по малому сходить, только по малому! А если по полной программе, да еще с туалетной бумагой, да если еще разрешат от глаз людских дверцей отгородиться, то все пять тысяч!

Евлентьев слегка захмелел, и слова сыпались из него не совсем привычные, но, как ему казалось, достаточно убедительные.

– Действия происходят в Москве, Бухаре, Лондоне и... – он опять сделал паузу. – Да, граждане, да! В государстве Израиль. Там решаются судьбы наших героев! Известнейший, талантливейший писатель Леонид Словин специально проник в это опаснейшее государство и без документов, без средств к существованию прожил там не один год, собирая материал для этой потрясающей книги!

– Бедняга, – обронил все тот же мужичок с пухлым красноватым лицом и такими же пухлыми красноватыми руками.

– Но зато он все вскрыл, и тайн для него в этом преступном мире больше нет. Если вы купите эту книгу, не будет тайн и для вас!

Евлентьев обвел сияющими глазами тусклый вагон электрички с нематыми окнами, перекошенными дверями, с мусором под лавками и грохочущими при торможении пустыми бутылками в проходе. Еще не проснувшиеся пассажиры отводили от него глаза, смотрели в окна, притворялись спящими или попросту вперяли припухшие после ночи глаза в газеты, не видя ни строчек, ни снимков, – на них вроде бы выздоравливающий президент улыбался из последних сил и, грозя недругам, потрясал в воздухе усохшим кулачком, который совсем недавно, совсем недавно был красным, мясистым, налитым кровью и властью.

– А еще позвольте вам предложить прекрасно изданный, в твердом переплете, прошитый белыми шелковыми нитками любовный роман Селены Сосновской «Плоть и кровь». Вы содрогнетесь – роскошный мужик женится на собственной дочери, рожденной этим же мужиком от собственной матери.

– Видно, работал без посредников, – успел озаренно вставить пухловато-красноватый мужичок.

– Совершенный им грех не поддается описанию, но он все-таки описан талантливейшим пером известнейшей писательницы Селены Сосновской. Автор прошел через плоть и кровь этих кошмарных событий и предлагает вам пройти по тому же пути!

– Ни фиги себе! – пробормотал мужичок. – Ну ты, парень, даешь!

– А цена, вы не поверите... Внимание, цена чисто символическая...

– Три раза в туалет сходить, – продолжал разговаривать с собой окончательно проснувшийся мужичок.

– Если же кто едет в гости, – продолжал Евлентьев, стараясь не слышать докучливых слов пассажира, – возвращается с дачи домой, если кто хочет порадовать своих внуков и правнуков, детей и племянников, любимых женщин и заждавшихся мамаш, могу предложить плитки шоколада. Прекрасно оформленные, в блестящей фольге, завернутые в бумагу с высокохудожественной картинкой, изображающей сестрицу Аленушку, сидящую на берегу пруда и оплакивающую безвременную кончину своего любимого братца Иванушки. Вам не найти лучшего подарка. Это наш отечественный шоколад знаменитейшей фабрики, принадлежащей когда-то братьям Сакко и Ванцетти! Это не какая-нибудь голландская или германская требуха из соевых бобов вперемешку с тараканами... А цена... Внимание... Вы не поверите... Цена чисто символическая – пять тысяч рублей. Такое возможно только потому, что мы работаем напрямую, без посредников... На московских прилавках этот шоколад стоит не меньше пятнадцати тысяч рублей... Желающие могут убедиться, попробовать на ощупь, даже понюхать! Запах натурального продукта невозможно спутать ни с чем иным! Немцы, голландцы, англичане закупают такой шоколад ящиками и едят, едят, едят, не в состоянии насытиться!

Евлентьев вытер выступивший на лбу пот. Выпитая с Васей водка, да еще похмельное состояние после вчерашнего перебора с Анастасией, да еще этот день без завтрака... Он перевел дух, замер на секунду с закрытыми глазами и, собравшись с силами, подхватив сумку, тяжело зашагал по проходу в следующий вагон.

Никто не купил у него ни одного экземпляра потрясающего романа Леонида Словина, ни женского любовного романа, ни шоколада в высокохудожественном оформлении. Да он особенно и не надеялся. В это время редко кто решится расстаться со своими кровными тысячами. Вечером – куда ни шло, а сейчас... Сейчас им бы похмелиться, в себя прийти после вчерашней жизни.

Пройдя через громыхающий стык между вагонами, протащив громоздкую сумку сквозь узковатые двери, Евлентьев вошел в следующий вагон.

– Уважаемые граждане пассажиры! – проговорил он привычные свои слова. – Вашему вниманию предлагается... А цена, вы не поверите... За прекрасно изданный, в прошитом переплете роман известнейшего... Высокохудожественная картина изображает убитую горем сестрицу Аленушку в одиночестве сидящей на берегу печального пруда, в котором отражается... На дочери, родившейся после соития с собственной матерью.

В пятый вагон от хвоста состава он вошел в девять часов тридцать семь минут – электричка как раз тронулась от платформы Отрадное. Только начиная с этой остановки можно было надеяться на продажу книги или шоколадки. Здесь вагоны плотно заполнялись жителями подмосковного Одинцова, торопящимися в Москву на заработки. Торговля шла плохо – в пяти вагонах Евлентьеву удалось продать одну книгу – какой-то хихикающей парочке, да еще старушка купила шоколадку, скорее всего в гости ехала, вот с подарком и зайвится.

С трудом протиснувшись сквозь заполненный проход, Евлентьев уже хотел было шагнуть в тамбур, уже протянул свободную руку, чтобы открыть дверь, как почувствовал, что кто-то держит его, ухватив за куртку...

Он обернулся.

И столкнулся взглядом с человеком, сидящим на крайней скамейке. На лице его сияла радостная улыбка, волосы имели тот рекламный вид, который достигается ежедневными неустанными усилиями – они были рассыпчаты и подстрижены столь искусно, что усилия парикмахера были совершенно незаметны. И зубы его выглядели вполне рекламно – обладали той сверкающей белизной, которая тоже говорит об образе жизни, чуждом и недоступном Евлентьеву.

– Привет, старик! – весело произнес этот человек с какой-то профессиональной, отработанной доброжелательностью. – Как поживаешь?

– Да ничего... Ковыряюсь помаленьку, – ответил Евлентьев с некоторой растерянностью в голосе. – А в чем, собственно, дело?

– Ну ты, старик, даешь! – не то возмутился, не то восхитился незнакомец. – Не узнаешь?

И только тогда в смятенное сознание Евлентьева начало просачиваться слабое воспоминание об этом человеке. Похоже, что он его действительно когда-то знал. Не то в улыбке, не то в голосе, а может быть, в самом обращении «Привет, старик!» слышалось что-то давно знакомое, тревожное.

– Ну! – поторапливал его улыбчивый незнакомец. – Ну! Еще одно усилие, еще одна попытка, и ты бросишься ко мне на грудь!

– Боже, – прошептал Евлентьев. – Боже, – повторил он и выронил свою сумку на пол. – Что с тобой сделала жизнь...

– А что она со мной сделала?

– Ты стал богатым, молодым и, похоже, совершенно здоровым!

– Да! Да, Виталька! Именно так! – Он встал, обнял Евлентьева, обдав того запахами диковинных духов, добротной одежды, обдав той уверенностью в себе и окружающем мире, которую дает жизнь обеспеченная и достойная. – Надо же – Виталька Евлентьев! – Незнакомец отвел Виталия на вытянутые руки и умиленно склонил голову.

А Евлентьев смотрел на старого приятеля Генку Самохина с чувством подавленности. Не было в его взгляде ни радости встречи, ни воодушевления. Ему вдруг стало попросту стыдно оттого, что не пахнет от него ничем, кроме пота, нет на нем белой рубашки с шелковистым галстуком, и волосы его никак нельзя было назвать рассыпчатыми, не светились они и не струились, его волосы были немыты и нечесаны, от него несло отвратительной водкой, а у его ног стояла бесформенная сумка с товаром, который никто не хотел брать, а если и брали, то только из жалости – уж больно несчастным выглядел продавец. Да, не столько продавал он свои книги и шоколадки, сколько просил милостыню. И в этом никто из пассажиров не заблуждался. Не заблуждался и сам Евлентьев, иначе не пил бы водку спозаранку, смог бы удержаться от дарового угощения.

– Да ты садись, старик! – воскликнул Самохин, увидев, что его сосед поднялся со скамейки.

Евлентьев сел, подтянул к себе сумку, затолкал ее ногами под сиденье, выглянул в окно. Часы на платформе Сетунь показывали девять часов пятьдесят две минуты.

– По тебе не скажешь, что ты на электричках едешь, – сказал он, окинув взглядом нарядного приятеля.

– А я на них и не езжу! – рассмеялся Самохин. – У меня дача в Жаворонках, в основном там я и живу. А машина забарахлила с утра, не пойму даже, в чем дело.

– Какая машина? – спросил Евлентьев, заранее зная ответ и заранее зная, что его вопрос будет приятен Самохину.

– «Мерседес»... Правда, не самой последней модели, но зато новый.

– Значит, и новые «Мерседесы» ломаются? – усмехнулся Виталий.

– Старик! Все ломается! Судьбы людские ломаются, а ты о какой-то железяке! – воскликнул Самохин, но услышал, почувствовал Евлентьев, что вопрос его задел приятеля, не понравился тому вопрос. – Главное, чтоб мы не сломались, я так думаю! – это уже был удар, болезненный удар, Самохин явно намекал на то, что с Евлентьевым, судя по всему, это все-таки произошло.

– Ты прав, – кивнул Евлентьев, – я и в самом деле того... Похоже, сломался.

– Нет-нет, старик! Я не это хотел сказать! – Самохин прижал ладони к груди, и Евлентьев с какой-то внутренней усмешкой понял, что и ногти у его старого приятеля покрыты лаком, приведены в порядок руками умелыми и заботливыми.

– Да ладно тебе, – он махнул рукой не то на слова Самохина, не то на самого себя.

Электричка подошла к станции Фили.

Часы на бестолковом угластом здании показывали четыре минуты одиннадцатого. Разговор двух старых приятелей продолжался около десяти минут. За это время многое изменилось в их взаимоотношениях. Если когда-то они были на равных, то за эти минуты один поднялся на несколько ступенек вверх, второй опустился вниз.

– Тебе где выходить? – спросил Евлентьев, тяготясь и этой встречей, и разговором, который явно становился пустым и обременительным. Впрочем, тяготил он, похоже, одного лишь Евлентьева. Самохин оставался оживленным, говорливым и, кажется, готов был продолжать беседу до бесконечности.

– На Беговой выйду... Мне надо на Пушкинскую, там моя контора.

– Что за контора? – без интереса спросил Евлентьев, незаметно трогая ногой сумку под сиденьем. Эта поездка для него оказалась пустой – кроме одной книги и двух шоколадок, продать не удалось ничего. Встреча с Самохиным сломала все его надежды, и теперь он думал лишь об одном – побыстрее отправиться в обратный путь на Голицыно и попытаться хоть немного заработать на ужин.

– Ха! – весело воскликнул Самохин и, кажется, даже ногами взбрыкнул, услышав вопрос. – А я все думаю – когда же ты об этом спросишь, когда поинтересуешься, чем занимаюсь!

– Робел, – развел руками Евлентьев, – с виду ты вроде как «новый русский», а они не любят отвечать на такие вопросы, таятся. У тебя как... На груди золотая цепь?.. Висит?

– Висит! – радостно кивнул Самохин. – Златая цепь на дубе том!

– Тяжелая?

– А! Ерунда! Двадцать пять грамм.

– Ничего, – уважительно склонил голову Евлентьев. – Дашь поносить?

– Хоть сейчас! – И Самохин полез за пазуху.

– Да ну тебя! – остановил его Евлентьев. – Шутки наши забыл? Помнишь, ты у меня просил – дай джинсы поносить... Помнишь?

– Было такое, – согласился Самохин, и опять Евлентьев заметил, что воспоминание это не было для приятеля радостным.

– Так где же ты работаешь?

– Старик, ты не поверишь... Я нигде не работаю... Ни на кого не работаю. Я на себя работаю.

– Я тоже.

– Старик... У меня банк. Понял? Банк! Это тебе о чем-нибудь говорит?

– Говорит, – кивнул Евлентьев. – Как я понимаю, ты банкир?

– И неплохой! – расхохотался Самохин. – Банк небольшой, но с очень высокой степенью надежности. По надежности я вхожу в первую десятку Москвы. Естественно, среди банков моего пошиба. Так что советую – накопления неси ко мне.

– А не слиняешь?

– Обижает, старик, – укоризненно протянул Самохин. – Если придется гореть, тебе сообщу первому – приходи, дескать, забирай свои миллионы, пока не поздно.

– Следующая Беговая, – сказал Евлентьев. – Не прозевай.

– Успею... А это дело... – Самохин ткнул ногой в сумку под лавкой, – кормит?

– Хиловато.

– Поит?

– А вот это уже нет... На питье не хватает.

– Так, – Самохин посерьезнел, наклонился, чтобы посмотреть на сумку, без всякой мысли наклонился, но, наткнувшись на размокшие, давно не чищенные ботинки старого друга, распрямился. – Хочешь, куплю весь твой товар? – неожиданно спросил он.

– А зачем он тебе?

– Я его тебе и оставляю... А?

– Нет, Гена... Не надо. Неловко получается. Два-три рейса – и я весь его распахую. После обеда торговля поживей пойдет.

– Ты что... Обрато в Голицыно? – спросил Самохин почти с ужасом.

– Нет, – покачал головой Евлентьев. – Только до Одинцова. Дальше торговли нет...

– И так весь день?

– Ну, почему обязательно весь... Не весь...

– Слушай, Виталий... Нам нужно увидеться.

– Увидимся, – Евлентьев пожал плечами. – Почему бы и не увидеться хорошим людям. Обязательно.

– Сегодня.

– Боюсь, не получится... Дело в том... Понимаешь... У меня назначена одна небольшая встреча личного плана, – Евлентьев и дальше готов был молоть что-то бессмысленное, но

Самохин показал, что не зря и не случайно оказался во главе банка. Он перебил Евлентьева жестко и твердо, сразу отбросив все смешливое и легковесное.

– Сегодня, – повторил он. – Ровно в восемнадцать часов ты будешь ждать меня на выходе из метро «Краснопресненская». На троллейбусной остановке.

– Ты подъедешь на троллейбусе?

– На «Мерседесе».

– Он же сломался.

– Подъеду на другом. Повторяю, ровно в восемнадцать часов. Форма одежды парадная.

– Нам что-то предстоит? – спросил с кисловатой улыбкой Евлентьев, и в этом вопросе уже было согласие.

– Да. Ужин. – Самохин отвечал быстро, торопливо, без улыбки, и Евлентьев хорошо представил себе, как четко ведет банковские заседания его старый приятель.

– В приличном месте?

– Дом литераторов.

– Будет много писателей?

– Там уже давно не бывает писателей. В предбаннике хлопнут рюмку водки, оботрутся рукавом – и отваливают, счастливые даже тем, что обломилось. Им не по карману ужин в их же собственном доме. А ты все-таки работник книги, – Самохин пнул каблуком в сумку под лавкой. – Тебе там будет интересно.

– И тебе тоже?

– Да. И мне будет интересно. Потому что нас с тобой ожидает не только ужин, но и интересный разговор. Ты мне нужен. И я тебя не отпущу.

– У тебя нет заместителя?

– Заместителей у меня более чем достаточно, – резковато сказал Самохин, не привыкший, видимо, к столь легкомысленной манере разговора. – И секретарши у меня есть. И охрана.

– Где же она? – Евлентьев оглянулся.

– Никому и в голову не придет, что я могу добираться электричкой. Электричка – самый безопасный вид транспорта. Здесь никогда не хлопнут.

– А есть желающие?

– Сколько угодно.

– За что?

– Место под солнцем занимаю. А от этого места многие бы не отказались.

– Банк, охрана, секретарши, деньги... Чего же тебе еще?

– У меня нет надежного человека. Д'Артаньян у меня нет. Мне нужен д'Артаньян.

– Я не владею шпагой и не ношу усов, – Евлентьев попытался смягчить резковатый тон Самохина.

– Научим. Не захочешь – заставим. Усы отрастим. Или приклеим. Я внятно выражаюсь?

– Вполне.

– Будь здоров. Мне пора выходить.

– Клиенты ждут?

Самохин хотел было ответить опять что-то резковатое, но сдержался и, подхватив полы длинного черного пальто, шагнул к двери. В последний момент обернулся, встретился взглядом с Евлентьевым.

– Не забудь – восемнадцать ноль-ноль.

И шагнул в тамбур.

Проходя мимо окна, он не повернул головы в сторону Евлентьева, не махнул рукой, хотя этого вполне можно было ожидать. Похоже, он тут же забыл о своем друге и весь уже был мыслями в банке, в той жизни, которая ожидала его где-то в районе метро «Пушкинская».

Евлентьев взглянул на вокзальные часы. Они показывали десять часов одиннадцать минут. Электричка шла без опоздания. Это был хороший знак, но Евлентьев не верил в приметы. В приметы ему еще предстояло поверить.

Странный, но в то же время вполне объяснимый и естественный промысел развился в России в последние годы – подмосковные электрички, да и не только подмосковные, не только электрички заполняли люди с сумками, рюкзаками, чемоданами и авоськами. Благообразные тетеньки с прекрасным произношением и одухотворенными лицами, бывшие учителя, работники закрытых музеев и разогнанных Дворцов культуры предлагали скучающим пассажирам семена огурцов, средства от тараканов, пилюли от бесплодия, иголки для швейных машинок, разноцветные нитки, которые, как выяснялось уже дома, были намотаны на катушку в два слоя – Запад делился изнанкой своего красочного благополучия.

Их мужья, идя по составу следом, с опозданием на вагон, предлагали машинное масло, отвертки и выключатели, электрические патроны, корм для кошек и ошейники для собак.

Шустрые подростки уговаривали купить эротические издания, предлагали телефоны авторемонтных мастерских, домашних борделей, где вас могли принять в любое время суток и обслужить по полной физиологической программе.

Бабули, проев за три дня свои пенсии, отправлялись по вагонам, уговаривая купить гостинцы внучатам – фломастеры, шоколадки, какие-то куколки в целлофановых мешочках, а то и просто целлофановые мешочки с изображением заморских красоток с загорелыми ягодицами.

Некоторые покупали, иные просто совали в карман престарелой корабейницы тысячу-вторую. Бабули этого как бы не видели, только чуть заметный кивок говорил о том, что они приняли подношение, но прожитая жизнь, когда-то пристойная профессия не позволяли им откликнуться на милостыню более благодарно.

А вернувшись вечером в голодноватые квартирки, рыдали, увидев по телевизору, как какая-то косорылая депутатша убеждала их в том, что жизнь улучшится, когда вымрут старики, и тогда все выжившие женщины страны смогут, как и она, летать в город Париж делать прическу. А еще как-то сипловато-смугловатая старуха с сальными волосами убеждала их, что Берлин в сорок пятом брали негодяи и подонки, забывшие о праве фашистов на собственное достоинство.

Иногда в вагон вдруг вваливалась компания пожилых людей, увешанных орденами и медалями всех стран и народов Европы, победители самой жестокой войны человечества. Медали звякали на заношенных пиджаках пустовато и обесчещенно. В руках у мужичков были музыкальные инструменты. Войдя, они располагались у тамбура и, повинаясь незаметной команде одного из своих товарищей, начинали исполнять на трубе, аккордеоне, барабане, свистульке мелодии своей победы... «Пусть ярость благородная вскипает, как волна, – идет война народная, священная война...» И каменели лица у сонных пассажиров, и хмурые пассажиры молча, как бы стесняясь друг друга, лезли в карманы, ковырялись заскорузлыми пальцами в кошельках.

А музыканты, вытянувшись в цепочку, не прекращая играть, медленно шли по проходу между сиденьями. Лица их были невозмутимы и даже, кажется, надменны. Впереди шел парнишка с коробкой из-под кока-колы, видимо внук или правнук кого-то из музыкантов... Все это производило впечатление похоронной команды, которую пригласили на поминки по великой державе.

Время от времени, правда, они давали себе передышку, и труба с аккордеоном щемяще выводили полузабытые мелодии об утомленном солнце, которое так нежно с морем прощалось, о том, как кто-то кому-то возвращал портрет, рыдая от любви, и хотя искры гасли на ветру, костер все-таки продолжал, все-таки продолжал светить в тумане...

Носили по вагонам хлеб и молоко, яйца и колбасу, водку и пиво, популярные газеты и залежалые книги. Конечно же, в прошитых переплетах, конечно же, потрясающих авторов и по невероятно низкой цене.

– Мы работаем без посредников, напрямую, поэтому вы не поверите, наши цены втрое, впятеро ниже, чем на прилавках в центре города! – выкрикивал Евлентьев, пытаясь наполнить свой голос чем-то зажигающим, вдохновляющим и прекрасно при этом понимая, что выглядит паршиво, что ему, с его мятой физиономией, в затертых штанах и размокших туфлях, никто не верит. И голос его был уныл и безрадостен. Он даже сам озадаченно удивлялся, когда кто-то все-таки покупал у него книгу с каким-то совершенно идиотским названием... «Огненная страсть», «Необузданные желания», «Экстаз любви»... В этих словах ему виделась та же унылая беспомощность, та же надсадная страсть, что и в его голосе...

Как-то он сам попытался прочитать несколько страниц из этих книг. Отменили какую-то электричку, домой возвращаться не хотелось, и он, зажавшись в угол зала ожидания на Белорусском вокзале, углубился в чтение. Ровно через пять минут Евлентьев с гадливым отвращением захлопнул книгу и больше не пытался заглянуть под эти красочные обложки, под эти подолы, обещавшие столько наслаждения, столько неземных радостей. Как выяснилось, кроме духоты и вони, под подолами ничего не было.

Этот день для Евлентьева был откровенно неудачным.

Торговля не шла.

Побито и подневольно проходил он состав за составом из конца в конец, но его товаром никто не интересовался. Может быть, потому, что он и сам потерял к этим сладостным книжкам и сладеньким шоколадкам всякий интерес.

Утренняя встреча со старым товарищем, который неожиданно оказался преуспевающим банкиром, всколыхнула Евлентьева, да и не могла не всколыхнуть, поскольку жизнь его была достаточно тусклой и однообразной. Все эти электрички, переполненные вагоны, сквозняковые тамбуры, редкие прижимистые покупатели слились в один поток, серый, грохочущий на рельсовых стыках поток жизни.

От Самохина в черном пальто, от его длинного белого шарфа, от непокрытой головы дохнуло другой жизнью. Дохнуло и опасностью. Эту опасность Евлентьев чувствовал все острее, но гасил, гасил в себе настораживающие мысли и ощущения. Что делать, обычно так и бывает – человек, которому опостылела его жизнь, готов все перемены считать счастливыми, ко всяким он стремится в ожидании удачи, пусть хоть какой-нибудь, самой хиленькой.

Вернувшись в очередной раз на Белорусский вокзал, Евлентьев вскинул на плечо чуть полегчавшую сумку и двинулся домой. Жил он недалеко, на улице Правды. Пройдя по переходу под Ленинградским проспектом, вышел с противоположной стороны, поднялся по мокрым гранитным ступенькам, через полсотни метров спустился по таким же ступенькам и оказался у гастронома. С трудом протиснувшись в алюминиевые двери, он пристроил сумку у окна, выбрав место посуше, не затоптанное покупателями. Купив полкило колбасы, Евлентьев зашагал дальше, мимо часового завода, мимо туристической фирмы, которая каждый день своими плакатами звала его в дальние страны, завлекая голыми телами, голубыми волнами, бутылками, бананами, Багамами. Но взгляд Евлентьева всегда невольно задерживался на плакате, изображавшем маленький греческий островок, – хотелось ему в Грецию, хотелось. Больше никуда, только на этот маленький скалистый островок. Внизу у скал пенилась теплая морская волна, выше располагалось селение из белых домов, а на горизонте опускалось в море красное солнце... От плаката веяло теплым ветром и спокойной жизнью без грохота электричек и злобного перебреха вагонных торговцев...

Но сегодня Евлентьев увидел не плакат, его он даже не заметил, он увидел собственное отражение в большом витринном стекле – согнутая фигура, бесформенные штаны, вязаная

шапочка, сумка, которая делала его громоздким и неповоротливым. Он остановился и некоторое время исподлобья смотрел себе в глаза, словно увидел человека, которого уже и не надеялся встретить на этой земле.

– Ну ты даешь, – пробормотал он. Евлентьев привык к своему облику, и не удручала его трехдневная светлая щетина, взгляд, который с каждым месяцем становился все более заискивающим, какая-то непроходящая затертость, появляющаяся у каждого, кто занимался этим промыслом в вагонной толчее.

– Ладно, – пробормотал он, сворачивая на улицу Правды. – Разберемся... Во всем разберемся.

Едва Евлентьев переступил порог квартиры, как сумка словно сама по себе соскользнула с его плеча и легла на пол. Вязаную шапочку Евлентьев сдернул с головы и бросил на крючок, но промахнулся. Шапочка упала на пол недалеко от сумки. Он не стал ее поднимать. И к ботинкам своим не наклонился – просто скovyрнул их с ног и прошел в комнату. Носки вокруг пальцев были мокрыми и оставляли влажные следы на паркете. Увидев их, Евлентьев поспешил перейти на палас, тоже какой-то затертый, серо-полосатого цвета.

Пройдя на середину комнаты, он бросил опасливый взгляд в зеркало, словно боялся увидеть там нечто неожиданное. Но ничего, обошлось, он даже подзадержался на себе взглядом, провел рукой по волосам, немного взмокнув под шерстяной шапочкой.

Был Евлентьев довольно высок ростом, с прямыми светлыми волосами, негустой щетиной, худошав. А вот руки ему достались крупные. Сильные, красивые руки были у Евлентьева, и он знал об этом. Подойдя к тахте, он с ходу, одним движением рухнул на нее всем телом лицом вверх. Евлентьев старался не смотреть в угол, где в кресле, забравшись в него с ногами, сидела женщина. Он увидел ее, едва приоткрыл входную дверь, но словно не заметил, зная, что разговор пойдет неприятный, какой-то подзуживающий, и заранее как бы сжимался в ожидании не очень сильного, но болезненного удара.

У женщины были темные волосы, свисавшие по обе стороны лица, тонкие руки, длинные пальцы. На ней были легкие брючки, большой растянутый свитер. Растоптанные мужские шлепанцы валялись на полу. В отставленной руке дымилась сигарета, прямо в кресле у голых пяток стояло блюдо, служившее пепельницей. В нем уже лежало несколько окурков, из чего можно было заключить, что в кресле женщина сидела давно. Когда в комнате появился Евлентьев, на губах ее заиграла еле заметная снисходительная улыбка. Евлентьев не любил эту улыбку по одной простой причине – он считал, что так вот может улыбаться только хозяйка, а она действительно была хозяйкой этой квартиры. И позволяла ему жить здесь, с ней. У него была комната в общей квартире где-то на Юго-Западе.

Евлентьеву казалось, что не то он ее любит, не то она его, не то оба понемножку, во всяком случае, что-то между ними было, теплились какие-то отношения. Иногда они прерывались, и было такое ощущение, что прерывались они ко взаимному удовольствию. Потом как-то само собой получалось, что отношения восстанавливались, возобновлялись, и Евлентьев снова обнаруживал себя в этой квартире, а не в той комнатухе на Юго-Западе.

– Здравствуй, – произнесла, не сказала, а именно произнесла Анастасия – она любила, когда ее называли не Настя, а именно Анастасия. Что-то виделось ей в этом звучании, что-то грело ее и ласкало. – Что нового в большой жизни?

– Большая жизнь закончилась, – ответил Евлентьев, не открывая глаз.

– Что так? – Анастасия пустила дым к потолку, усмехнулась каким-то своим мыслям.

– Большая жизнь рассыпалась на большую кучу маленьких жизней... И получилось что-то вроде горы битого стекла, которое годится разве что в переплавку... Впрочем, я слышал, что в некоторых чрезвычайно развитых странах битое стекло используют для покрытия дорог.

– И что? – В этом вопросе прозвучала явно хозяйская нотка. Было, было в нем этакое снисходительное внимание.

– И ничего, – ответил Евлентьев, прекрасно понимая, что в этом его ответе есть некоторая дерзость, которая вряд ли понравится Анастасии. – И ничего, – повторил он. – Живут. Хлеб жуют.

– Наверное, не только хлеб? – спросила Анастасия и тут же пожалела – вопрос получился какой-то кухонный, будто она завидовала гражданам развитых стран, которые могут запросто положить на хлеб кусок колбасы. Не могла Анастасия позволить себе такого чувства, как зависть, недоброжелательство, это было ниже ее достоинства. И пока Евлентьев не успел ничего ответить, она задала еще один вопрос, снимая с повестки дня первый: – Как торговля?

– Плохо.

– Может быть, ты выбрал не то направление? Может быть, надо бы тебе работать не по белорусскому, а по киевскому или по курскому направлению?

– Может быть.

– Или сменить товар? Некоторые бабули, например, бойко и выгодно торгуют «Московским комсомольцем».

– «Московским комсомольцем» торгуют не только бабули. И тоже выгодно.

– Кто же еще?

– А! Поддельная водка, от которой травятся и умирают, поддельные газеты, от которых звереют, как от самой паршивой водки, поддельные презервативы...

– Это интересно! – воскликнула Анастасия. – Что же происходит, к чему приводит использование поддельных презервативов?

– Это приводит к тому, что детей делают по пьянке и они вырастают заранее озверевшими уже без поддельной водки и поддельных газет. Сами по себе. О чем постоянно сообщает своим читателям все тот же «Комсомолец».

– Надо же, как интересно, – Анастасия склонила голову, раздавила окурок в блюдце.

Когда-то в детстве Анастасия закончила музыкальную школу, потом в старших классах посещала кружок журналистики, потом отучилась в педагогическом институте, и все это, вместе взятое, давало ей право о чем угодно говорить свободно, легко и как бы даже со знанием дела. Комета, пересекавшая небосвод, овца Долли, выращенная из куска вымени, премия «Оскар» за нечто безнадежно тупое и обо всем остальном на белом свете она говорила убежденно, даже с вызовом, позволяя себе суждения, на которые никогда бы не решился человек более осведомленный.

Занималась Анастасия тем, что помогала Евлентьеву – на каких-то базах, оптовых рынках, складах покупала списанные книги, залежалые конфеты, коробочки с высохшими духами и все это тащила домой. А Евлентьев с утра набивал сумку и шел к электричкам Белорусского вокзала. Концы с концами сводили, но не более. А Евлентьева она доставала, частенько доставала, не по злобности натуры, не из сатанинского тщеславия или простой бабьей спеси, а потому лишь, что это позволяло ей выживать, находить хоть какой-то общий язык с собой же.

Анастасия сразу, едва только Евлентьев вошел, едва переступил порог, почувствовала, что какой-то он не такой, что-то с ним случилось. Обычно он бывал более уязвим, с первых же ее вопросов заводился и дерзил. А сегодня... Затаенно спокоен, сдержан, будто знает что-то такое-этакое...

Была Анастасия худа, носила обвисшие кофты и свитера, браслеты болтались на тонких запястьях, и даже тонкие кольца сережек были ей великоваты. Она раздумчиво склонила голову к одному плечу, ко второму, глядя на Евлентьева с некоторым недоумением, потом спрыгнула с кресла, ловко попав босыми ногами в шлепанцы, и отправилась на кухню. Привычно прогрохотала, переставляя с места на место чайник, кастрюлю, сковородку.

Обычно на такие звуки Евлентьев являлся быстро, даже как-то исполнительно. Словно это не посуда грохотала, а звучал ее голос, призывно и требовательно.

Но сегодня Евлентьев на кухню не пришел.

Анастасия в кармане его куртки нашла кусок колбасы, сделала себе бутерброд, запила холодным чаем и вернулась в комнату. Оставив шлепанцы на полу, снова забралась в кресло, уселась, скрестив ноги так, что голые ее пятки легли одна на другую.

– Устал? – спросила участливо.

Евлентьев терпеть не мог этого слова, и Анастасия прекрасно это знала, но надеялась этим нехитрым приемом вывести его из себя, вынудить рассказать, что с ним произошло.

Не получилось.

– Маленько есть, – ответил Евлентьев.

Анастасия стряхнула пепел в блюдо, помолчала некоторое время, запрокинув голову и глядя в потолок, вздохнула.

– Ну ладно... Скажи уже наконец, что там у тебя сегодня приключилось.

– Да так, ничего особенного.

– А я про особенное и не спрашиваю. Я не хочу знать ничего чрезвычайного, из ряда вон, ничего такого, от чего рушатся страны и судьбы... Мне чего-нибудь попроще бы...

– А он циркачку полюбил, – несколько некстати ответил Евлентьев, но Анастасия, как ни странно, приняла его слова и даже охотно их подхватила.

– Это которая по проволоке ходила? Махала белой ногой?

– Друга встретил, – проговорил Евлентьев.

– Старого, верного, надежного?

– В одном дворе жили, в одну школу ходили... Правда, в разные классы.

– Большим человеком стал?

– «Новый русский».

– Длинное черное пальто, концы белого шарфа болтаются где-то возле колен, в коротких вьющихся волосах серебрятся снежинки, – медленно, нараспев проговорила Анастасия, и Евлентьев замер от ужаса – настолько точно обрисовала она Самохина. Это у нее получалось, она обладала какой-то колдовской проницательностью. Не всегда, не во всем, но иногда задавала настолько точный вопрос, что Евлентьев замолкал на полуслове, пытаясь понять, что еще она знает о том человеке, о том событии, о которых он же ей и рассказывает.

– Покупает сегодня у меня бабуля шоколадку, – начинал рассказывать Евлентьев за ужином. – Обычная бабуля, в пуховом платке, какая-то сумка при ней...

– С костылем? – уточняла Анастасия.

– Что с костылем? – бледнел Евлентьев.

– Бабуля была с костылем?

– Да...

– Так что она?

– Да так, ничего, – терял всякий интерес к разговору Евлентьев. – Ты и сама все знаешь.

– Хотела купить одну шоколадку, а купила все три?

– Ну, вот видишь, – кисло улыбался Евлентьев.

И сейчас, когда Анастасия описала внешность его давнего знакомого, да, знакомого, назвать Самохина другом Евлентьев никак не мог, он замер на какое-то время, замолчал, насто-роженно посмотрел на Анастасию.

– Договорились встретиться? – спросила она.

– Да, сегодня в шесть.

– Форма одежды парадная?

– Насколько это возможно.

– Меня возьмешь?

– Об этом мы с ним не договаривались.

– Решил идти?

– Почему бы и нет?

– Не знаю, не знаю, – Анастасия загасила в блюдце очередную сигарету, поставила блюдце на пол и легко спрыгнула с кресла прямо в громадные евлентьевские шлепанцы. – Пойду поглажу тебе рубашку. Нужно выглядеть... Ну, хоть немного лучше, чем сейчас. А ты за это время побреешься.

– Легкая небритость сейчас в моде.

– Это касается Алена Делона, но не тебя. Даже Бельмондо не позволяет себе легкой небритости. За небритостью таится ненаказуемая, но все-таки на грани наказуемости и потому особенно привлекательная... этакая мужская порочность.

– Она мне не идет?

– Ты недостаточно порочен, Виталик. И не надо прикидываться порочным. Твой стиль – гладко выбритая бледность. Единственное, в чем ты можешь позволить себе небрежность, – это прическа. Но волосы при этом должны быть вымыты, высушены, расчесаны. Значит, пойдешь на эту встречу?

– Ты спрашиваешь второй раз... Тебе что-то не нравится?

– Могу только сказать, Виталик, что ужином ваше общение не ограничится.

– Будет продолжение?

– Наступит время, когда ты пожалеешь, что встретил этого человека в утренней электричке.

– Он принесет мне несчастье?

Анастасия посмотрела на Евлентьева долгим взглядом, передернула узкими плечами, прикрытыми толстым растянутым свитером, не то улыбнулась, не то просто хмыкнула, издав нечто нервно-неопределенное.

– Не только, – сказала наконец.

– А ты не можешь выразиться определеннее? – раздраженно спросил Евлентьев.

– Не могу, – Анастасия подняла руки и беспомощно уронила их. – Не могу, Виталик! Я произношу только то, что само произносится. А когда ничего не произносится, молчу. Ты хочешь, чтобы я почаще молчала? – Она посмотрела на него исподлобья.

– Да нет, – он пожал плечами. – Произноси.

– Рубашку гладить?

– Наверно, надо.

– Значит, все-таки пойдешь?

– Анастасия, – негромко, но тяжело произнес Евлентьев, – я пойду в любом случае. Даже в калошах на босу ногу, даже в этой мокрой куртке, даже если мне придется надеть ее на голое тело.

– Я так и знала, – Анастасия отвернулась к шкафу, считая разговор законченным.

– Что ты знала?! – заорал Евлентьев.

– Включились высшие силы. От тебя уже ничего не зависит.

– Откуда тебе это известно?

– Приметы... Дурные приметы.

– Какие?

– Когда ты вошел, на экране телевизора заставка шла... Две птички с жердочки упали.

– Ну и что? – простонал Евлентьев. – Ну упали птички, ну? Туда им и дорога!

– Вот и я о том же... О твоей дороге.

– Почему только о моей? Птичек-то две, и обе упали? – улыбнулся Евлентьев.

– Две птички... Это вы с другом... Ты сегодня в единстве с ним, а не со мной, – Анастасия повернула к Евлентьеву свое внезапно осунувшееся лицо.

– Ну ты даешь, подруга, – это было все, что он мог произнести.

Дом литераторов умирал.

Впрочем, можно сказать и более откровенно – Центральный Дом литераторов умер.

Совсем недавно, всего несколько лет назад, это было самое соблазнительное место Москвы. Сюда стремились юные дарования, по вечерам съезжались, благоухая парижскими ароматами, маститые писатели, их сановные жены, их щебечущие подруги, честолюбивые, с горящими глазами пробивные графоманы в поисках нужных знакомств, людей и связей. Сюда стремились наивные девочки и задумчивые юноши, проститутки с поэтическими наклонностями и поэтессы, готовые тут же закрепить мимолетное знакомство в более укромном месте. Этот Дом охотно посещали звезды кино и театра, звезды космоса и астрологии, экстрасенсы, колдуны и хироманты, обаятельные мошенники и шальные бандиты. Сюда приходили посмотреть живьем известные всему миру лица, приобщиться к чему-то высокому, тревожному и почти недоступному.

Лауреаты блистали знаками отличия, любовницы литературного начальства хвастались заморскими обновками, ошалевшие от счастья авторы первых книг, посвященных рабочим и крестьянам, березкам и тополям, журавлям и соловьям, Крайнему Северу и знойному югу, лесорубам и рыбакам, альпинистам и космонавтам, раздаривали, раздаривали эти книги со смазанными улыбками, с глазами, влажными от величия момента, о котором так долго и мучительно мечталось.

А в Пестром зале, где стены были исписаны пьяными автографами великих людей, приближенных к руководству Дома, сидели уже авторы двух, а то и трех книг и яростно выясняли, кто умеет писать, кто писать никогда не научится, стучали кулаками, опрокидывали стаканы с водкой и вином, орали, приветствуя очередного бородатого гения, приятеля, собутыльника, и старели, старели, старели в этом зале, постепенно превращаясь в слезливых небритых стариков с красными глазами, пеньками вместо зубов, выпрашивающих друг у друга рублевки на стопку водки...

И это было интересно, это волновало, тревожило, и за этим стремились сюда, подделывая приглашения, обманывая бдительных старух у входа, проникая с соседних улиц через чердаки и подвальные буфеты, подземные пустоты и тайные лестничные переходы, о которых мало кто знал.

А ресторан!

О, ресторан!

Попасть в него было непросто даже члену Союза писателей, и требовалось некоторое знакомство с распорядителями, официантами, буфетчицами, чтобы, созвонившись за несколько дней, выпросить столик на двух человек, на четырех человек и оказаться наконец под резными потолками, у громадного камина, среди дубовых колонн, украшенных затейливой резьбой прошлых веков.

Но все кончилось.

Нет более этого Дома, его подъезд мертв и пустынен, а если и заходят сюда иногда неприкаянные писатели, то разве что на гражданскую панихиду по безвременно ушедшему собрату, чей портрет с казенными словами сочувствия выставлен в темном гулком вестибюле.

Правда, в буфете подвального этажа можно иногда увидеть забившегося в угол красноглазого алкоголика, который помнил другие времена и бывал чрезвычайно счастлив, обнаружив в дальнем углу своего прежнего собутыльника, тоже кое-что помнящего из тех шумных и счастливых времен, когда они страстно и убежденно материли литературное начальство, без устали издававшее собственные многотомники, летавшее в Париж с красивыми женщинами, а увешанные орденами гардеробщицы подавали этим женщинам дубленки и манто. А на заснеженной улице Герцена, у посольств Бразилии и Кипра, их поджидали машины, в которых сверкающе отражались ночные огни Москвы. Да что машины, этих избранных поджидала жизнь недоступная и соблазнительная. И потому в Пестром зале их материли пьяно, исступленно и бесстрашно.

И это кончилось.

Куда-то исчезло литературное начальство, все эти выверенные и взлелеянные классики, вся эта гордость отечественной литературы. Покинули их шикарные красавицы в благоухающих манто, их дубовые кабинеты заняли нахрапистые качки с выбритыми затылками, а издатели обратили свои взоры к книгам, написанным бывшими ментами, эками и стукачами. И совершенно недоступным сделался ресторан в Дубовом зале. Отремонтированный и выведенный на высший мировой уровень по ценам и обслуживанию, он стоял пустой и холодный, словно в ожидании людей, которые придут сюда, чтобы предаться горю и безутешности.

Но нет, писатели уже не ходили дальше вестибюля и подвального буфета. За скромный ужин с друзьями по случаю вышедшей книги пришлось бы отдать весь гонорар, полученный за эту самую книгу.

Лишь изредка в дальнем полумраке можно было увидеть молчаливую пару. И ни огня не полыхало в их глазах, ни блеска, словно давно все было сказано, давно решено и осталось только съесть и выпить то, что им принесут. Да и ели-то лениво, ковыряясь в тарелках, и расплачивались, лениво отсчитывая стотысячные купюры, и уходили, чтобы предаться делам более приятным. Он – черноглазый и нагло-валяжный, она – естественно, белокурая, с истомой в глазах и с вызовом, но подавленная, все-таки подавленная той суммой, которую кавалер отвалил за этот необязательный в общем-то перекус. Догадывалась, догадывалась бедолага, что он расплатился не только за ужин, но уже за все с ней расплатился.

Быстрой и уверенной походкой Самохин подошел к вешалке, сбросил черное длинное пальто, провел расческой по волосам, смахнул невидимые пылинки с плеч и вопросительно взглянул на Евлентьева, который все еще ковырялся с «молнией» на куртке.

– Заело? – спросил Самохин странным голосом, будто в его вопросе было куда больше значения, чем это могло показаться постороннему человеку.

– Немного...

– Это плохо.

– Почему? – поднял Евлентьев улыбчивый взгляд. – Мы опаздываем?

– Дело не в этом. Есть люди, у которых всегда что-то заедает... Не в одном месте, так в другом, не сейчас, так чуть позже... Ты не из них?

– Надеюсь, – Евлентьев справился наконец с «молнией». Оказалось, что между зубьями попала складка ткани. Потеряв терпение, Евлентьев рванул посильнее – в зубьях так и остался выданный лоскут.

– Вот это уже обнадеживает, – произнес Самохин, и опять в его голосе прозвучало значение, явно выходящее за пределы случившегося.

– Вот видишь, – облегченно улыбнулся Евлентьев. – Значит, я не так уж плох.

– Посмотрим, – обронил Самохин. Он решительно пересек вестибюль, поднялся по трем ступенькам и ступил на ковровую дорожку, которая шла через холл, увешанный картинами, уставленный стеклянными витринами со статуэтками – видимо, здесь проходила какая-то выставка. Крупные ребята в черных костюмах почтительно отступали в сторону, едва Самохин приближался к ним. То ли они знали его, то ли было в его облике такое, что сразу становилось ясно – этого надо пропустить.

Потом они пересекли бар с грибками высоких стульев. Подсвеченные зеркальные полки были сплошь уставлены самыми изысканными напитками, которые только может представить себе человеческое воображение. Впрочем, вполне возможно, что напитки были не столь изысканные, сколь дорогие. И хотя цены нигде не висели, по непроницаемому виду бармена можно было догадаться, что к его стойке лучше не подходить – разорит.

Евлентьев еле поспевал за своим приятелем. Все привлекало его внимание, во все он хотел всмотреться. Когда они пересекали Пестрый зал со стенами, расписанными хмельными автографами классиков, изгалявшихся когда-то в застольном остроумии, он вообще отстал,

вчитываясь в шаловливые стишки. Самохин его не торопил, давая возможность осознать, что он оказался в непростом месте, не для каждого этот Дом, не для шелупони поганой. Евлентьев, однако, не выглядел подавленным или растерянным, разве что заинтересованным.

Сегодня была в его облике и некоторая изысканность, и вполне допустимая неряшливость – белоснежная рубашка, но без галстука, серый ворсистый пиджак, но хорошего, весьма хорошего кроя, синие джинсы скрашивали новые туфли на тонкой кожаной подошве. Осмотрев его мимоходом, Самохин промолчал – видимо, его вполне устроил наряд гостя.

Пройдя по узкому коридору, преодолев несколько ступенек, Самохин и Евлентьев оказались в небольшом белом зале, предназначенном, видимо, для того, чтобы гости подготовились и прониклись до того, как перед ними распахнется сумрачное пространство зала Дубового, высоту и торжественность которого подчеркивали узкие витражи, устремляющиеся ввысь на два-три этажа. Где-то там, вверху, в ложах, тоже были расположены столики, обрамленные резными колоннами.

Дубовый зал был почти пуст.

Настольные лампы, затянутые золотистой тканью, светились призывно, уютно, но пока что на их призывы откликнулись всего несколько человек – в разных концах зала были заняты не то два, не то три маленьких столика.

Самохин, похоже, бывал здесь время от времени, потому что, не спрашивая никого, уверенно направился к камину, расположенному в полутемной нише, под резной лестницей.

– Прошу, – сказал он Евлентьеву, показывая на двухместный столик, уже накрытый, но скромно, чтобы гости могли перекусить в ожидании основных блюд. На столе стояла почти забытая бутылка боржоми, водка, хорошая водка, успел отметить Евлентьев, и две щедрые, слишком даже щедрые порции осетрины горячего копчения, ее белые ломти, кажется, светились в полумраке. Хлеб и вазочка с хреном завершали убранство стола.

– Послушай... Тут уже для кого-то накрыли? – растерянно спросил Евлентьев, не решаясь сесть.

– Для нас и накрыли.

– Но ведь... это...

– Я позвонил сюда заранее.

– Разумно, – признал Евлентьев и только тогда сел напротив Самохина. А тот, не медля, наполнил довольно объемистые рюмки, плеснул в фужеры пенящийся боржоми. Пузырьки празднично вспыхнули, освещенные настольной лампой.

– Рюмки у них не великоваты? – спросил Евлентьев, предчувствуя радость пиршества.

– Профессиональные рюмки, – пояснил Самохин. – Любители пьют из наперстков.

– Тоже верно, – опять согласился Евлентьев, продолжая осматривать зал, впрочем, точнее будет сказать, продолжая восхищаться дубовой отделкой зала.

– Неплохое местечко? – спросил Самохин.

– Честно говоря, я даже не представлял, что такие могут быть.

– Для серьезных разговоров, для красивых женщин, для настоящих мужчин! – рассмеялся Самохин. – Изменим жизнь к лучшему! – И, ткнувшись рюмкой в рюмку Евлентьева, он быстро выпил. Тому ничего не оставалось, как последовать его примеру. И вслед за Самохиным он приступил к закуске.

– Осетрина – это хорошо, – проорчал Евлентьев.

– Ничего? – спросил Самохин. – Есть можно?

– Годится, – ответил Евлентьев, решив, что достаточно воздал самолюбию старого приятеля.

Неслышными тенями скользили где-то за их спинами официанты в черном, ожидая, видимо, приглашающего жеста, но Самохин не обращал на них внимания. Иногда от других столиков доносился слабый звук сказанного слова, иногда звякала вилка, неосторожно поло-

женная на поднос, раздавался приглушенный звон хрусталя – в дальнем углу пили вино. Евлентьев молча кусок за куском уплетал осетрину – он не помнил, когда ел подобное прошлый раз, да и ел ли такое вообще когда-нибудь. Самохин не мешал ему, не докучал разговорами, он тоже все свое внимание отдал осетрине.

– С утра ни крошки во рту, – наконец произнес он слова, которые в общем-то не обязывали к какому-либо ответу. – Проголодался, как собака.

– Было суетно?

– День как день... Ты сегодня не торопишься?

– Нет, не тороплюсь. Я и вчера не торопился. И завтра тоже мне некуда торопиться.

– Не знаю, не знаю, – ответил Самохин, не поднимая глаз. – Не зарекайся, Виталик. – Самохин неожиданно поднял глаза и в упор посмотрел на Евлентьева. – Сколько зарабатываешь своей торговлей?

– Миллион, – с некоторой заминкой ответил Евлентьев. – Иногда больше, иногда меньше... Но в среднем миллион.

– В день?

– Да ну тебя! – рассмеялся Евлентьев. – Скажешь тоже... В месяц. Но бывает больше, бывает меньше.

– Хватает?

– Смотря на что...

– Понимаю, – усмехнулся Самохин. – На осетрину явно не хватит. Сегодня ты закусил своим месячным заработком.

– Круто, – изумленно склонил голову Евлентьев. Он не был уязвлен вопросами Самохина, не почувствовал укора или превосходства, просто вежливо удивился. Не залебезил, не рассыпался в восторгах и благодарностях, ничуть. Обронил одно лишь словечко, которое мог произнести человек, равный Самохину по положению, по достатку. И тому, похоже, понравился ответ, он задержался взглядом на Евлентьеве, усмехнулся.

– Когда ты в вестибюле запутался в «молнии», я решил было, что мы зря сюда пришли, – сказал Самохин.

Евлентьев промолчал.

– Но теперь я понял, что все правильно.

– И мы еще сюда придем. – В словах Евлентьева не было выпрашивания еще одного ужина, он просто поддержал разговор, показавшийся ему странноватым.

– Нет, – неожиданно жестко ответил Самохин. – Здесь мы с тобой больше не будем. Никогда. Ни единого раза.

– Как скажешь, Гена, как скажешь, – легко ответил Евлентьев, хотя опять услышал слова довольно странные, слова, которые не вписывались в дружескую беседу. Но решил, видимо, что осетрина важнее всех словесных недоразумений, даже если они и отдают некоторым превосходством.

– А почему ты не спросишь – почему?

– А зачем, Гена? Я и сегодня не напрашивался, и в будущем не намерен, – Евлентьев первый раз за все время их встречи показал зубы.

– Правильно, – кивнул Самохин. – Молодец. Ты, Виталик, не обижайся... Все, что я говорю, – это по делу, я не из дурной спеси или от плохого воспитания. Только по делу. Я рад тебя видеть, рад тебя видеть в добром здравии... Хотя вначале там, в электричке, ты показался мне слегка пошатнувшимся.

– А я и есть пошатнувшийся.

– Это хорошо.

– Да? – удивился Евлентьев.

– Это хорошо, что ты можешь об этом говорить спокойно и твердо. Значит, не так уж ты и пошатнулся. Это я имел в виду.

– Как скажешь, Гена, как скажешь, – повторил Евлентьев. – Прекрасная осетрина, не правда ли?

– Кончай обижаться. Мы сюда пришли не осетрину есть. Она и в других местах не хуже. Речь о другом. Есть предложение... Я выплачиваю тебе ежемесячно миллион. Но со своей торговлей ты заканчиваешь. Прекращаешь шататься по электричкам.

– Отныне и навсегда?

– Да, вот с этой самой минуты.

– Но твой миллион, наверное, меня к чему-то обязывает?

– Конечно. Я ведь знаю, что сыр бывает бесплатным только в мышеловке. И ты тоже это знаешь.

– Знаю. Надеюсь, дело не дойдет до убийств? – улыбнулся Евлентьев.

– И я надеюсь, – ответил Самохин, но без улыбки. Он остро, в упор глянул на Евлентьева, и его худощавое лицо напряглось. – Поручения будут несложные. Суть их заключается в том, что тебя никто не должен знать. Ты неходишь ни в банковские, ни в криминальные, ни в какие другие круги. Живешь своей жизнью, общаешься со своей девушкой...

– Откуда же ты знаешь о моей девушке?

– Ничего я о ней не знаю. Просто, посмотрев на тебя сейчас вот, я решил, что здесь не обошлось без женских усилий... Вот и все. Итак, тебя никто не знает, никто даже не догадывается, что ты у меня есть. Эти деньги не проходят ни по одной статье, тебе не придется нигде расписываться, отчитываться за них. Нигде, никому, никогда, даже своей девочке ты ничего не говоришь обо мне. Не просто обо мне, а еще круче – меня нет. Ни в каком виде. Никто от меня не знает, что ты есть, никто не знает от тебя, что есть я. Поэтому я сказал, что мы с тобой здесь больше не увидимся.

– И когда начинаются наши игры?

– Игры уже закончились, – Самохин вынул из кармана плоский бумажник из тонкой кожи, вынул две полумиллионные купюры и положил их на белую скатерть перед Евлентьевым. Тот легко взял их, но из простого любопытства, ему не приходилось до этого держать в руках полмиллиона одной бумажкой.

– Спрячь! – сказал Самохин, опасливо оглянувшись.

И Евлентьеву ничего не оставалось, как быстро сунуть деньги в карман пиджака. Мимо них прошел официант с каменным лицом. Он, видимо, ждал заказа, но опять Самохин пропустил его, не позвав. Евлентьев сунул было руку в карман, чтобы вынуть деньги и вернуть их, но Самохин остановил его:

– Не надо, старик. Не надо. Возьми себя в руки.

– Я? – удивился Евлентьев. – Я в порядке.

– Вот и хорошо. У нас замечано?

– Пусть так, – согласился Евлентьев после некоторого колебания. – Но если задание не будет вписываться в мои представления о добре и зле...

– Ты просто не будешь его выполнять.

– Но тогда мне придется вернуть...

– Возвращать тебе ничего не придется. Все, что оказалось в твоих руках, – твое навсегда.

– Да? Хорошо, – кивнул Евлентьев. – Это мне нравится. Но есть еще одно обстоятельство... Ты не будешь возражать, если я, оставив суетную торговлю, буду подрабатывать как-то иначе... Ведь миллион – это не те деньги, на которые...

– Каждое задание оплачивается отдельно. Ты будешь получать гонорары. В общей сложности набегит еще миллион. Это компенсирует твои потери?

– Думаю, да.

– Тогда никаких подработок. Сможешь?

– Попытаюсь...

– Никаких попыток, – Самохин жестко посмотрел на Евлентьева. – Как сказано в Библии... Есть слово «да» и есть слово «нет». Все остальное от лукавого. У нас с тобой сложатся очень хорошие отношения, если ты почаще будешь пользоваться этими короткими библейскими словами. Согласен?

– Да.

– Есть вопросы?

– Нет.

– Тогда наливай, – и, кажется, впервые за весь вечер Самохин улыбнулся свободно и широко, как можно улыбаться лишь старому доброму другу. – Изменим жизнь к лучшему! Каждая третья реклама по телевидению заканчивается этими словами, прекрасными словами, старик! – Самохин поднял руку.

– Ну что ж, изменим... Во всяком случае, попытаемся. – Евлентьев, словно преодолевая в себе какое-то сопротивление, выпил.

– Ну, а вообще как поживаешь?

– Ничего... Суетно немного... Но жить можно.

– От суеты я тебя избавлю. Мы еще закажем что-нибудь?

– А надо ли?

– Тогда повторим осетрину.

– Это можно, – согласился Евлентьев.

Едва Самохин успел обернуться, едва поднял руку, как официант в черном рванулся в их сторону, к единственному занятому столику во всем Дубовом зале. Только черные фигуры официантов потерянно бродили между столами, словно в недоумении – как жить дальше, чем бы заняться...

Евлентьев медленно брел от Белорусского вокзала в сторону улицы Правды. К ночи подморозило, и под ногами похрустывал ледок мелких луж. Прохожих почти не было, только гулкие пустые троллейбусы время от времени проносились совсем рядом. Мимо туристического агентства он прошел, не взглянув на плакат, который приглашал его в Грецию. Сегодня далекий теплый остров, омываемый лазурным морем, не взволновал его, не растрогал, словно билет на Родос уже лежал в его кармане.

В кармане Евлентьева лежал не билет, там плескалась пол-литровая бутылка водки. Уже в конце ужина, расплачиваясь, Самохин вздумал заказать себе и Евлентьеву по бутылке, чтобы было чем похмелиться утром. Водка была из холодильника и приятно остужала евлентьевский сосок сквозь подкладку пиджака, сквозь рубашку. Глухо побулькивая, она обещала продолжение вечера столь же достойное, каким было его начало.

Разговор с Самохиным, его предложение, некоторые несуразности несколько его не насторожили. Все казалось естественным, все было в пределах здравого смысла. Давний приятель решил помочь незадававшемуся торговцу, это было нормально. Весь вечер слился в одну приятную беседу, которая никого ни к чему не обязывала, разве что к некоторым дружеским услугам.

Запомнились прощальные слова, когда они пожимали друг другу руки на ступеньках ресторана – Самохин извинился, что не может подбросить друга к дому – уговор о том, что они незнакомы, вступил в силу. Евлентьев не возражал, ему тоже хотелось побыстрее остаться одному.

– Значит, говоришь, Д'Артаньян? – пьяно улыбаясь, спросил Евлентьев.

– Да, старик, да! – несколько нервно ответил тот. – Именно так, Д'Артаньян.

– А что ты вкладываешь в это слово?

– Самые высокие представления. Я тебе вручаю королевские подвески, и ты, преодолевая всевозможные трудности, преодолевая расстояния, оставляя за спиной горы трупов кардинальских гвардейцев или как их там, в самый последний момент, в самый критический момент доставляешь подвески по назначению, спасаешь королеву, спасаешь герцога, а прекрасная госпожа Бонасье без чувств от любви падает в твои объятия! Каково?

– Красиво, – пробормотал Евлентьев. Что-то смутило его в этом красочном объяснении, что-то насторожило, но, сколько он ни пытался, вспомнить не удалось. Какое-то слово, может быть, взгляд Самохина или его произвольный жест... Что-то зацепило, но нет, вспомнить Евлентьев не смог.

На том и попрощались.

– Ты, старик, должен мне поверить, – проговорил Самохин неожиданно трезво и внятно. – Я ничего не скрываю. Нет никаких тайных пунктов в нашем договоре. Все их я произнес открытым текстом. Заметано? Даже на твой вопрос о Д'Артаньяне я ответил серьезно и полно. Тебе повторить мои слова?

– Нет! – замахал руками Евлентьев. – Я все помню.

– У нас заметано?

– Заметано! – с хмельным азартом воскликнул Евлентьев и, обняв Самохина, похлопал его ладошками по спине. – Изменим жизнь к лучшему!

И сейчас вот, свернув на улицу Правды, проходя мимо казино, освещенного ночными порочными сполохами, Евлентьев повторил почти с тем же выражением: «Заметано, старик, заметано!»

Подойдя к своему дому, Евлентьев заметил, что окно в полуподвале тускло светится. И он, не колеблясь, постучал в дверь рядом с булочной. Некоторое время никто не отзывался, в полуподвале стояла настороженная тишина, и только после повторного стука он уловил внутри слабое движение. Это была мастерская художника Юрия Ивановича Варламова – бородатого, седого, с румяными щеками и маленькими шальными глазками. Так и есть – едва Варламов открыл дверь, как тут же заорал что-то радостное. Впрочем, радостным криком он приветствовал всех, кто заглядывал к нему в мастерскую.

Внутри за столом сидел сын Варламова, Миша, тоже бородатый и веселый, правда, менее заросший, но зато более пьяный. И, конечно же, Зоя – подружка Варламовых, соседка, приятельница. На столе стояла опустевшая бутылка, в блюде лежал кусочек халвы и надкушенный пряник – у Варламова с закуской всегда было тяжело, хотя можно сказать, что закуске он просто не придавал большого значения.

Уже сев за стол и достав бутылку из ресторана Дома литераторов, Евлентьев наконец задал себе вопрос, который давно зрел в его сознании, – а зачем он, собственно, здесь появился? Но отвечать не стал, в этот вечер все казалось ему правильным и единственно возможным.

Старший Варламов тут же побежал в угол и поставил чайник, принес еще одну рюмку, Зоя с лицом легкого фиолетового оттенка и с таким тонким голосом, что далеко не всегда удавалось разобрать, что она говорит, показала Евлентьеву язык, потом показала еще раз. То ли она пыталась соблазнить его, обещая неземные ласки, а может, столь странно проявлялась ее непосредственность. А Миша Варламов все это время, покатываясь со смеху и вскидывая коленки, рассказывал о том, как они с отцом взяли Зою с собой в деревню, а там ее посетил инопланетянин.

– Представляешь, Виталик, все выпили, все съели, уже далеко за полночь, разбрелись по кроватям и вдруг слышим истошный вопль!

– Ты бы тоже закричал! – сказала Зоя.

– Оказывается, в темноте, вдоль луча лунного света к ней проникло существо, забралось под одеяло и воспользовалось ее беспомощным состоянием!

– Ничего и не воспользовалось! – поправила Зоя. – Оно не успело.

– А утром выяснилось, что никакого это и не существо, – пояснил Миша. – Это был вовсе не посланник высшего разума, это пастух Иван перепутал избы и спьяну влез в окно не к себе, а к нам... А Зою в темноте за свою бабу принял! – хохотал Миша.

Ночное происшествие обсуждали, пока не кончилась водка, и только после этого Евлентьев поднялся. Варламов вышел его провожать, он всех провожал, тряс руку, просил заходить.

– Это... – Евлентьев подождал, пока мимо пройдет мужик с собакой. – Я слышал, ты уезжаешь?

– Через неделю. На границу Украины с Молдавией.

– Да, ты говорил... Иконостас расписывать...

– Представляешь, два месяца на полном довольствии, на молдавском вине...

– Ключ дашь? – спросил Евлентьев.

– Ради бога! – вскричал Варламов, радуясь непонятно чему, и, метнувшись в мастерскую, через минуту вернулся. – Держи. Как пользоваться, знаешь. Миша, – он кивнул в сторону мастерской, где опять раздался взрыв веселого хохота, – Миша едет со мной... Так что... Давай. Только свет не забывай гасить, а то всю ночь ломиться будут.

– Кто?

– Люди, кто же еще...

Евлентьев сунул в карман плоскую холодную железку, пожелал Варламову творческих успехов, пожал сильную, костистую руку художника. И зашагал к арке.

Пора было возвращаться к Анастасии.

Зачем он зашел к Варламову, что его заставило обратиться к тому со столь странной просьбой, зачем ему ключ от полуподвала в том самом доме, в котором он живет... Евлентьев не знал. Он не думал об этом. Не было никакой цели. Что-то заставило, что-то надоумило. Во всяком случае, утром он долго будет рассматривать ключ и не сразу, далеко не сразу вспомнит, откуда он у него. О позднем посещении мастерской художника в памяти Евлентьева не останется ничего. На автопилоте мужик вернулся. Последнее его четкое воспоминание об этом вечере – прощание с Самохиным на ступеньках ресторана и название улицы на углу дома – Поварская. Анастасия впустила его в квартиру, снова заперла дверь, молча посмотрела на схватку Евлентьева со своей курткой и вздохнула.

– Что и требовалось доказать, – сказала она, забираясь с ногами в кресло перед мерцающим экраном телевизора. Толстый заросший мужик с кудрявыми прядями по плечам с серьезным видом рассуждал о странностях отношений мужчины и женщины, озабоченно так рассуждал, вдумчиво, но спокойно. В его словах ощущался большой личный опыт, можно сказать, наболевшим делился мужик.

– Во телевидение наступило! – хмыкнул Евлентьев, расправившись наконец с курткой и забросив ее в угол. – То Белоруссию матерят, то про баб треплются... Круг замкнулся... Что им белорусы сделали плохого, чем бабы не угодили? Ни с теми вместе не хотят, ни с другими...

И рухнул на диван.

– Что и требовалось доказать, – повторила Анастасия, не оглянувшись на бесчувственного сожителя.

Евлентьев открыл глаза, когда большое квадратное окно едва начало сереть. В утренних сумерках уже различалась дверь в прихожую, кресло, телевизор – он черным квадратом выделялся четче остальных предметов в комнате. По голове Евлентьева, где-то внутри, мучительно передвигался комок боли. Вот он словно под тяжестью опустился к самым шейным позвонкам, потом раздулся и охватил весь затылок между ушами. Это было еще терпимо, но, когда сгусток разделился на два и приблизился к вискам, Евлентьев понял, что наступил последний его час.

– Умираешь? – с интересом спросила Анастасия. Она лежала рядом с самого края, одетая, все в тех же брючках и в большом толстом свитере.

– Кажется, да...

– Что-то болит, наверное?

– Болит...

– Мне почему-то кажется, что у тебя должна болеть голова... Я угадала?

– Нет... Голова не болит... Но в самой голове, в черепушке... Творится что-то страшное... Там у меня кто-то завелся.

– Много выпили? – деловито осведомилась Анастасия.

– По бутылке. Уже заканчивали, а Самохин и говорит... Надо бы, говорит, добавить... Добавили. А потом внизу, в полуподвале... С художниками...

– И Зоя была?

– А как же без Зои...

– Что с ней случилось на этот раз?

– Инопланетянин посетил... Воспользовался ее беспомощным состоянием.

– Опять? – удивилась Анастасия.

Ответить у Евлентьева сил не нашлось, и тогда Анастасия, легко прыгнув с кровати и сразу попав ногами в шлепанцы, прошла на кухню, хлопнула там дверцей холодильника и вернулась со стаканом холодного кефира. Не открывая глаз, Евлентьев протянул руку, нащупал холодные грани стакана и, приподняв голову, залпом выпил. И тут же со слабым стоном снова упал на подушку.

Анастасия взяла из его ослабевших пальцев стакан, вытряхнула себе в рот остатки кефира. Чуть приоткрыв глаза, Евлентьев увидел на фоне светлеющего окна ее тонкую, неправдоподобно тонкую руку, которая казалась совсем полупрозрачной рядом с толстыми складками свитера.

– Выжил? – спросила Анастасия.

– Еще не знаю...

– Похмелишься?

– Упаси боже!

– Значит, выживешь... Это хорошо. Тогда я собираюсь.

– Куда?

– За товаром... Возьму пару пачек «Московского комсомольца». Он хорошо расходится – народ любит бифштекс с кровью...

– Не надо, – Евлентьев пошарил в воздухе рукой, нащупал ладошку Анастасии и сжал, не позволяя ей отлучиться.

– Что не надо? Газету?

– Вообще не надо... Завязали с электричками.

– Виталик... А это... Кушать?

– Возьми в пиджаке... Во внутреннем кармане... На первое время хватит.

– Самохин? – удивилась Анастасия.

– Да.

Анастасия подошла к стулу, на спинке которого висел пиджак Евлентьева, скользнула ладошкой во внутренний карман и, нащупав нечто похрустывающее, вынула две полумиллионные купюры. Подошла с ними к окну, осмотрела каждую с двух сторон, в полной растерянности повернулась к Евлентьеву.

– Послушай... А что... Разве есть такие деньги?

– Какие? – не понял Евлентьев, в это утро он вообще мало что понимал.

– По пятьсот тысяч рублей в одной бумажке?

– Других у него не было.

– А они настоящие?

– Магазины откроются... проверим.

– Проверим, – кивнула Анастасия и снова сунула деньги в пиджак.

– Возьми одну себе... А вторую мне оставь, – простонал Евлентьев. От вчерашнего блеска в нем ничего не осталось – спутанные волосы, затуманенный взгляд, смятая рубашка уже не столь ослепительной белизны, какой она сверкала совсем недавно.

– А тебе зачем? – рассмеялась Анастасия. – Посмотри на себя, ты же недееспособен. Обманут, отнимут, сам потеряешь.

– Тогда бери обе, – сказал Евлентьев. Каждое слово давалось ему с такими муками, что Анастасия сжалась и вопросов больше не задавала.

Обычно после подобных испытаний Евлентьев приходил в себя где-то к вечеру. Весь день он маялся, перекладывая с места на место книги, чинил краники, выключатели, ходил в магазин за хлебом и молоком, просто лежал, глядя в потолок и тихо прощаясь с жизнью. И только после пяти-шести часов вечера вдруг обнаруживал, что в мире есть звуки и краски, вспоминал, что совсем недалеко, в этом же доме, возле булочной, есть тяжелая коричневая дверь, за которой его наверняка встретят радостными криками. Старший Варламов побежит ставить чайник, а младший, получив деньги, тут же мотанется за бутылочкой. А когда вернется через десять-пятнадцать минут, за столом уже будет сидеть Зоя. И только тогда Евлентьев поймет, что выжил, только тогда, не раньше.

Наверное, все так бы и случилось, и Евлентьев уже надел куртку, уже напялил на голову вязаную шапочку, которая придавала ему вид легкомысленный и задорный, уже стоял у двери и, глядя в насмешливые глаза Анастасии, произносил бестолковые и лживые слова о том, что ему нужно где-то быть, кого-то видеть, что-то сделать... Когда Анастасии надоело его откровенное вранье и она сказала обычное свое «Катись!», раздался телефонный звонок. Евлентьев оказался к аппарату ближе и поднял трубку.

– Слушаю! – сказал он с надеждой получить еще один повод слинять на вечерок из дома.

– Жив? – прозвучал незнакомый голос.

– Да, вроде...

– Не узнаешь? Вчерашний твой собутыльник... Ну? Напрягись, напрягись немного!

– Елки-палки! – заорал Евлентьев, узнав Самохина. – А я не врубился, представляешь!

– Встречаемся через пятнадцать минут. Станция метро «Белорусская»-радиальная. Рядом табло пригородных поездов. Вот у этого табло. Пятнадцати минут тебе хватит, чтобы дойти пешком. Вопросы? Возражения?

– Да вроде того, что... – начал было Евлентьев, пытаясь сообразить, что ему ответить, но Самохин прервал его.

– Вот и отлично, – сказал он, и из трубки тут же послышались частые гудки.

– Ни фига себе, – пробормотал Евлентьев, опуская трубку. – Через пятнадцать минут на Белорусском вокзале...

– Самохин? – спросила Анастасия.

– Он самый.

– Пойдешь?

– Конечно.

– Ну-ну... Ни пуха ни пера.

– К черту! – сказал Евлентьев и вышел. Пытаясь закрыть за собой дверь, он увидел, что ее придерживает Анастасия. Едва ли не впервые за последние дни она смотрела на него серьезно, даже встревоженно. – Ты что-то хочешь сказать? – спросил он.

– Да... Будь осторожен.

– Ты, наверное, что-то предчувствуешь? – усмехнулся он. Евлентьев с радостью отнесся к звонку Самохина, он позволял ему легко, без объяснений выйти из дома. Настроение Анастасии он не принял и о предчувствии спросил только для того, чтобы уйти легко и быстро.

– Тревога, Виталик... Не знаю откуда, но во мне тревога.

– Опять приметы?

– Да, Виталик, да.

– Какие?

– Дурные. Вчера, когда ты с Самохиным гудел, в окно птица залетела...

– Да, это серьезно, – кивнул Евлентьев. – А что потом случилось с птичкой?

– Ты не будешь столько пить?

– Не смогу, Анастасия!

– Сможешь... Но не надо этого делать... Оставь мне телефон Самохина.

– Он просил никому не давать.

– Правильно, не надо никому сообщать его номер, – Анастасия взяла с телефонной полки карандаш, сдвинула в сторону плащ на вешалке и, выбрав на обоях свободный пяточок, обернулась к Евлентьеву. – Это телефон для чрезвычайных случаев... Я не буду звонить каждый раз, когда ты задержишься на час, на два, на три... Понял? Я позвоню, когда тебя не будет сутки, двое, трое...

– Думаешь, такое возможно?

– Да.

Казнясь, что-то преодолевая в себе, Евлентьев все-таки продиктовал номер телефона Самохина, не смог отказать. Он уже хотел было сбежать по ступенькам, но Анастасия опять остановила его.

– Подожди, – сказала она и прошла куда-то в глубь квартиры. Вернулась через минуту и, опасливо осмотрев площадку, убедившись, что никого, кроме них, нет, протянула Евлентьеву что-то небольшое, зажатое в худенький кулачок.

– Что это?

– Баллончик.

– Зачем?

– На всякий случай. Для поддержки штанов.

– Откуда он у тебя?

– Хороший человек подарил. Он любит меня, дуру, заботится обо мне и делает все, чтобы меня никто не обидел. А я люблю тебя, дурака, и делаю все, чтобы тебя, дурака, никто не обидел.

– Ценю.

– Только это... Осторожней с ним... Это очень сильный газ.

– Нервно-паралитический? – страшным шепотом спросил Евлентьев.

– Он самый, – и Анастасия захлопнула дверь.

Евлентьев постоял, повертел в руках небольшой черный баллончик, украшенный замысловатыми желтыми разводами, и, поколебавшись, сунул его в карман куртки. Примерился к нему там, в кармане. Баллончик плотно улегся в ладони так, что прямо под большим пальцем оказалась широкая вмятина кнопки, покрытая мелкой насечкой. Зажав баллончик в кулаке, Евлентьев повертел им перед глазами, посмотрел на себя как бы со стороны и убедился, что вещицу Анастасия дала совсем неплохую.

Евлентьев узнал Самохина далеко не сразу. Тот пришел в какой-то неприметной серой куртке, в синих джинсах, на голове, естественно, была вязаная шапочка. Он стоял у табло расписания поездов, которые отправлялись в сторону Голицына и Можайска или же приходили с той стороны. Руки в карманах, поднятый воротник, замызганные туфли... Нет, ничто в нем не

напоминало того крутого парня, с которым он встречался всего сутки назад. Евлентьев какое-то время топтался в стороне, присматриваясь. Настроение Анастасии передалась ему, и он словно пытался увидеть то, что невозможно было заметить, стоя лицом к лицу.

– Привет, – сказал Евлентьев, пристраиваясь сбоку.

– А, это ты, – не оборачиваясь, произнес Самохин. – Как здоровье?

– Уже лучше. А ты?

– Я еще два дня буду терпеть, маяться и проклинать себя за дурость. Три ночи мне нужно отоспать, чтобы окончательно в себя прийти. Прошла только одна... Пошли прогуляемся.

И Самохин, так и не взглянув на Евлентьева, направился в переход под мостом. Выйдя с противоположной стороны, они свернули влево, по ступенькам поднялись на мост, потом спустились уже к Ленинградскому проспекту. Подойдя к часовому заводу, повернули направо и оказались на совершенно пустой улочке, которая вела к издательству «Правда». Самохин зябко поднял плечи. Лицо его, такое румяное вчера, было небритым, бледным, почти зеленоватым.

– Значит, так, Виталик... Я сегодня плохой, придется тебе немного выручить меня...

Ничего сложного, небольшая поездка.

– Куда?

– В Одинцово.

– О, так это совсем рядом, – у Евлентьева с души отлегло, он опасался, что придется нечто гораздо хлопотнее.

Холодный весенний ветер дул прямо в лицо, и оба шли, наклонившись вперед, ссутулившись, сунув руки в карманы.

– Да, полчаса на электричке, – подтвердил Самохин.

– А что там?

– Пара пустяков... Значит, так... Ты выходишь из первого вагона, садишься на автобус номер два и едешь до магазина «Маринка». Остановка так и называется, «Магазин „Маринка“». Это будет улица Парковая. Тебе нужен дом четырнадцатый...

– Подожди, запишу, – Евлентьев сунул было руку в карман, но Самохин остановил его.

– Не надо... Запоминай.

– Слушай, я чувствую себя Штирлицем! – хохотнул Евлентьев.

– Чувствуй себя кем угодно... Это твое дело, – проговорил Самохин, и Евлентьев явственно уловил в его голосе отчужденность. Жестковато ответил Самохин. Он, видимо, сам понял, что слегка перегнул, и, как бы извиняясь, толкнул Евлентьева плечом. – Ты не имей на меня зуб, ладно? Я сегодня плохой, поэтому могу говорить только о деле, да и то с трудом.

– Понял, – ответил Евлентьев с преувеличенной исполнительностью.

– Так вот... Улица Парковая, дом четырнадцать, квартира двадцать восьмая...

– Кого найти?

– Никого не надо искать.

– Взорвать квартиру и уйти? – Евлентьев никак не мог проникнуться серьезностью Самохина.

– Слушай, Виталик... Значит, так... Кончай хохмить. – Самохин остановился, исподлобья посмотрел на приятеля. – Понял?

– Так точно!

– Вот и хорошо... Пошли назад. Электричка на Одинцово через десять минут. Найдешь почтовый ящик двадцать восьмой квартиры и сунешь вот этот пакет, – Самохин вынул из внутреннего кармана куртки плотный узкий конверт, напоминающий свернутую в несколько раз газету. – Сунь в карман подальше.

– И все?

– Да, это все. Пока. Задерживаться в подъезде не надо, сразу на станцию и в обратную дорогу. Не вздумай по дороге продавать что-нибудь. У тебя хороший вид, – Самохин окинул

взглядом Евлентьева. – Вроде ты есть, вроде тебя нет... Никто не запомнит, не уличит, не опознает.

– А почему это хорошо? Меня что-то подстерегает?

– Видишь ли... Есть вещи, которые надо делать так, чтобы этого никто не видел.

– А если пакет кто-нибудь похитит из ящика? Сейчас это на каждом шагу... Газеты тащат, письма, рекламные плакаты... Мышей дохлых в ящики подбрасывают, кошачьи какашки...

Теперь Самохин и Евлентьев возвращались другим переходом, который вывел их прямо к шестой платформе, к стоящей с распахнутыми дверями электричке.

– Это твоя, – сказал Самохин. – У тебя есть три минуты, чтобы пройти к первому вагону.

– Вижу, – шутить Евлентьеву расхотелось, он понял, что ответной шутки от Самохина не услышит. Теперь ветер дул им в спину, и они смогли наконец распрямиться.

– Будь здоров, – сказал Самохин, протягивая сухую ладонь. – Вечером звякну.

Похлопав Евлентьева по руке, он повернулся и вошел в здание. Полуподвальный проход выходил прямо на площадь Белорусского вокзала. «Видимо, на стоянке Самохина поджидал „Мерседес“,» – подумал Евлентьев и, не медля, зашагал к красному светофору, который горел у самого начала платформы, отражаясь в мокрых зеленых вагонах. Уже горел свет, сквозь открытые двери слышался сипловатый, невнятный голос диктора. Суматошно вбегали запоздавшие пассажиры, стараясь успеть захватить место у окна, вжаться в угол и подремать, пока состав будет тащиться до нужной станции.

Привычная картина...

В Одинцове электричка почти опустела, дальше, до Голицына, она пойдет налегке, гулкая и просторная. Евлентьев вышел на площадь, зябко поежился, все-таки рановато он перешел на облегченную одежду, свитер ему бы не помешал. Прождав автобус минут пятнадцать, он отправился пешком. Все, кого он останавливал, прекрасно знали, где магазин «Маринка», и Евлентьев, шагая через дворы, срезая дорогу на перекрестках, минут за пятнадцать вышел на Парковую. Дальше можно было уже не спрашивать дорогу – номера на домах были написаны масляной краской и потому неплохо сохранились, их не разбили, не содрали, не уничтожили.

Четырнадцатый дом действительно был недалеко. Евлентьев свернул на асфальтированную разбитую дорожку. Вначале прошел мимо всего дома, не задерживаясь, хотя двадцать восьмая квартира явно была во втором подъезде. Что-то заставило его насторожиться. То ли припомнились предостерегающие слова Анастасии, то ли странное поведение Самохина, да и само задание было какое-то диковатое по нынешним временам. Что могло быть в длинном, узком пакете? Деньги? Вряд ли, не те размеры пакета. Документы? Да, скорее всего. Но что стоило тому же Самохину проскочить в своем «Мерседесе» эти двадцать километров? А если у него дача в Жаворонках, как он сказал, то тут вообще по дороге...

Не заметив возле дома ничего подозрительного, Евлентьев решительно шагнул во второй подъезд. Едва поднявшись на несколько ступенек, он увидел приколотенные к стене почтовые ящики. Конечно же, все они были пустыми, прошли времена, когда люди выписывали газеты, журналы, когда писали и получали письма, да и от телеграмм ныне многие отказались полностью. Разве что печальная весть придет, не терпящая отлагательства. А радостная... Нет, радостями перестали делиться в новые счастливые демократические времена. Если что и могло оказаться в почтовом ящике, то какой-нибудь рекламный листок, расхваливающий залежалый товар, угроза из налогового управления, детская или взрослая шалость.

Почти все ящики были раскрыты, дверцы болтались на искореженных петлях и только кое-где еще оставались целыми – значит, в этих квартирах еще на что-то надеялись, еще теплилась там какая-то жизнь. Ящик под номером двадцать восемь тоже был в порядке. Исцарапанный, видимо, несколько раз горевший, не раз взломанный, но замочек на нем был новенький, поставленный, похоже, недавно. А, впрочем, скорее всего его просто меняли каждый месяц, если не чаще.

Евлентьев поднялся на один лестничный пролет и сразу почувствовал беспокойство. На площадке стояли несколько парней, молча стояли. Если бы это были жильцы, то они бы покуривали, перебрасывались словечками, были в шлепанцах и в штанах на резинках... Если бы забрели старшеклассники из ближайшей школы, то наверняка хохотали бы хрипло и надсадно, стараясь перекричать друг друга, перекурить, перематерить. Просыпающиеся половые устремления требовали ежеминутного самоутверждения, утверждались опять же хохотом, куревом, матом.

А эти молчали, будто поджидали кого-то, может быть, Евлентьева и поджидали? Когда он проходил, никто не посторонился, даже не повернулся, чтобы пропустить его. Ни один из парней не обернулся, чтобы узнать, кто идет. И хотя площадка была достаточно большая, протиснулся Евлентьев с трудом. Подойдя к ящику и вынув из кармана пакет, он остро ощутил внимание к себе. Повернув голову, увидел, что все четверо смотрят на него. Не было в их лицах угрозы, не было и усмешки, они просто смотрели на него, бездумно и равнодушно. Именно таких вот взглядов и нужно опасаться больше всего, потому что за бездумностью может стоять все что угодно – от обшаривания карманов до ножа в спину.

– Это он, – донеслись до Евлентьева негромко произнесенные слова.

– Да, похоже...

Заталкивая пакет в щель ящика, Евлентьев почувствовал, как дрогнули его пальцы, повлажнела ладонь. Прислушался – никто не спускался сверху, не поднимался снизу. Сквозь мутные, надколотые стекла окна, расположенного между этажами, он не увидел ни одного прохожего. И только сейчас вспомнил, что, добираясь сюда между домами, прохожих видел очень редко, не всегда даже удавалось уточнить дорогу, не у кого было спросить.

Затолкав наконец пакет в узкую щель ящика, он опустил сверху крышку, не столько из аккуратности, сколько желая затянуть время, но понимал, что никуда ему не деться, выходить из дома придется. И он, стараясь сохранить на лице выражение спокойное и беспечное, шагнул вниз. «Авось пронесет», – успел подумать.

Евлентьев уже ступил ногой на площадку, уже хотел было повернуть на следующий пролет лестницы, но почувствовал, что не сможет этого сделать – он просто уперся в грудь длинного парня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.